

# Игорь Шестков "Два отрывка"

## ВСТРЕЧА С ШВАРЦМАНОМ

Впервые я увидел Михаила Матвеевича Шварцмана в 1978 году. Мне было тогда 22 года, я только что закончил мехмат МГУ, работал в научно-исследовательском институте и рисовал каждую свободную минуту. Причем был твердо убежден, что делаю это гениально. Попасть к Шварцману было трудно. Он никого не хотел видеть и принимал только избранных из избранных. У меня нашлись добрые друзья, мне был назначен час, и я приехал с рюкзаком своих работ в пролетарский район, где в старом пятиэтажном доме недалеко от Кабельного завода жил Шварцман с женой. В коммуналке.

Когда я поднимался по скрипучей грязной лестнице на третий этаж, сердце билось в груди как испуганный щегол в клетке, я чувствовал, что судьба моя изменится раз и навсегда и возврата к прежнему не будет никогда.

Позвонил.

Шаги.

Дверь открыл человек небольшого роста. Черная курчавая борода, курчавые волосы. Лысеющий лоб как бы летящий вверх. Резкие, поразительно живые, смеющиеся глаза. Небольшие руки. Темная рубашка, темные штаны. Темные же сапожки.

– Проходите, сэр!

Боже, что за голос! Низкий, хриплый, играющий. Голос блистательно остроумного человека.

Один только раз он посмотрел на меня (мне показалось, что на меня смотрит херувим с огненными крыльями). Тут меня и осенило. Я сразу понял, что все мои работы — дрянь. Я стоял в замызганном московском коридоре, а через мои зрачки несся поток небесного огня.

Я понял, что сейчас увижу чудо, которое испепелит мою инфантильные идеи, изменит мою серую жизнь. Так и случилось. В большой гостиной Шварцманов я увидел рядами, как на церковном иконостасе, поставленные, доски размером примерно метр на полтора, покрытые странными, таинственными, прекрасными

рисунками темперой. Это было так же чудесно, как впервые услышать ноктюрн Шопена, симфонию Малера или увидеть океан...

Излучение его картин и его личности было так велико, что я сразу же заболел лучевой болезнью, от которой излечился только через многие годы. Я долго пытался глупо и безуспешно подражать мастеру, не вникая в его метод, лишь вдохновляясь его формами. Это было мучительно, но стало для меня хорошей школой терпения. Позже я понял, что этот художник парит на недостижимой высоте, пытаться взлететь туда – означает обжечь слабые крылышки и погибнуть. Я смирился со своим положением скромного художника без претензий, и мне сразу полегчало. Еще лучше стало, когда я наконец совсем отказался от художеств.

...

Помню, после года-двух знакомства с мастером, я показал Шварцману свои новые графические работы. Голубоватые эти рисунки мне очень нравились, и я ожидал, что Шварцман их похвалит. Однако мэтр, заметив, что я ему подражаю, пришел в ярость и изругал меня.

— Ищите, Игорь, из всех сил ищите СВОЕ воплощение! Иерархию не выбирают волевым усилием. Нельзя представляться устами, если ты жопа! Я, естественно, жопой быть не хотел и смертельно обиделся на мастера, хотя чувствовал, что он прав — нельзя с моим скромным художественным даром даже пытаться нарисовать что-то подобное шварцмановским «ликам» или «иературам». Это, как любил повторять Шварцман, «все равно, что маслом в лужу капать»...

Но душе не прикажешь. Я рисовал, рисовал, рисовал...

Лет двадцать я жил под влиянием этого человека. Мой крест.

На «общих выставках» в галерее на Малой Грузинской улице в Москве, и потом на своих многочисленных персональных выставках в Германии я показывал работы, не откровенно эпигонские (как у Шемякина), но явно сделанные «в чужом воплощении», как сказал бы мастер, которого я последний раз видел еще до начала «перестройки».

Перестал рисовать я после того, как полистал только что изданный в Саксонии, к моему сорокалетию, цветной каталог моих работ. Как-то вдруг мне стало ясно,

что я не художник... и никогда им не был... что меня все время влекло что-то другое, а что... не знаю.

Рассказы я начал писать лет через восемь после выхода в свет каталога, когда мне уже было под пятьдесят. Писать я начал без «решения», без «замысла», «без идеи», «без плана» и конечно без апломба, высокомерия...

Писал просто... вроде как мочился... или дышал... или любил.

Помня свою неудачу с художествами, я рассматривал (и рассматриваю до сих пор) свою писанину как второстепенное занятие (первостепенное занятие — это обычная жизнь) и никогда не имел претензии на «литературу», никогда не считал себя «большим» или даже «средним» писателем... Потому что знаю наверно — иерархии в писательстве нет, и «жопа» и «уста» одинаково важны и прекрасны. То, что не напишу я, наверняка напишет кто-то другой. Возможно, значительно лучше.

Так уж вышло, я никогда не искал «свое воплощение», оно само нашло меня...

Только недавно я понял, что Шварцман именно этого и хотел, а грубостью своей пытался испугнуть бабочку, севшую не на свой цветок.

И я наконец примирился с этим давно умершим, но все еще «огнекрылым» человеком, открывшим мне глаза на мир одним своим появлением на грязной советской лестнице.

## МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

(запись 1995 года)

Нам скоро 40.

Мы родились после смерти Сталина. Сколько людей ждали, когда же он, наконец, подохнет!

Свершилось. И жизнь показала нашим отцам и дедам, что ненавистная тоталитарная система была не марсианским игром, а только отображением характера и души русского народа в социуме. Впрочем, отцы и деды не затрудняли себя роскошью думать, а просто жили, читая Фолкнера и «Новый мир», наслаждаясь тем, что не сажают. За столами, отнюдь не пустыми,

собирались большие веселые компании. Еще были популярны наука, студенчество, прогресс, польское и итальянское кино, литература. Потом все это потихоньку улетучилось. Началась эмиграция.

С начала семидесятых жизнь каждой интеллигентной советской семьи расколола трещина — уезжать, не уезжать... Уехать было трудно, за это боролись годы, теряя чувство реальности, время, друзей, концентрируясь только на отъезде и той, новой, хорошей жизни «там».

Эмиграция была возможностью отложить жизнь на потом — вечной уловкой человека, не имеющего мужества и таланта жить сейчас. Уехав, замолкали, затихали. Как ящерицы – отбрасывали хвосты... Обрубки зудели...

А не уехавшие шли в церковь, впадали в национализм, проклинали уехавших.

Проскочить между Сциллой и Харибдой — эмиграцией и национализмом было трудно. Оставалось тонуть... И тонули.

В 1982 году умер Брежнев. Стало ясно — коммунизму конец. Его агония длилась однако еще 9 лет. Лучшие годы моего поколения пришлось на эту эпоху, начавшуюся ударом гроба Брежнева о мерзлую землю в могиле у Кремлевской стены и закончившуюся победой Ельцина в августе 1991 года. И мало кто из нас выдержал это испытание. Большинство потеряли себя, остыли, поглупели и помертвели. Оказалось, как и в случае с отцами, что брежневский коммунизм не был чем-то внешним. Скорее — это были мы, он был нашим духовным телом. И его гниение было нашим гниением, его гибель была нашей гибелью.

Казалось, почисти мерзкую советскую карикатуру на человека, и из-под грязи покажется лик древней иконы или хотя бы «новый хам» или «свиное рыло».

Почистили — но под маской совчела не оказалось ничего.

Наше переходное поколение было низшей точкой истории — без пафоса, без лица, без имен. Так, связка, хрящ, междометие.

Наша жизнь... без трагедий и комедий... напоминала серые дни испуганной собаки.

Скоро нам 40.

Мы печальны. Мы не любим самих себя. Удачливы среди нас только подонки. Лучшие умерли или исчезли. Господи, Господи...